

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева

(Моя встреча с Андреем Белым)  
Посвящается Владиславу Фелициановичу Ходасевичу

I. Предшествующая легенда  
Легкий огонь, над кудрями пляшущий,

Дуновение – вдохновения!

– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого...

– Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!

Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год), что она его в противовес: в противоцвет Андрею Белому – сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию смягчив полное имя на уменьшительное.

Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его “Серебряный голубь” часто называли. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться – Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто – Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое – или самое важное – на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто непристоен!)

Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией.

– Последние времена пришли! – кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. – Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил “Прекрасную Даму”, уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, – разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Дмитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев – Борис, а Белый – Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? – разорвалась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) желтыми глазами.

– Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! – кротко отвечал мой отец. – А о чем лекция?

– О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!

– Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу... – осторожно (так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, а особенно – дам, а особенно – родственников, а особенно – родственников с нервным тиком (всегда – вся – тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь). – Все лучше, чем ходить на сходки...

– Студент! – уже кричала какаду (прозвище из-за крючковатости носа и желтизны

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
птичьих глаз). – Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!

– Ну, полно, полно, голубушка, – ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей – Василии Шуйском и директор Коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. – Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие – про символизм докладывают, ха-ха-ха! Отец – почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. – А ты как думаешь, Марина? Что лучше: на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано... – неизвестно к чему относя это “рано”, к балам или символизму...

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы.

Так я и унесла из розовых стен Коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до срока, заглохло, притаилось, легло спать.

Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек).

– Вчера Борис Николаевич... Я от вас к Борису Николаевичу... Как бы это понравилось Борису Николаевичу...

Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попросили Эллиса нас с ним познакомиться и – естественно, а может быть, не естественно? – что Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами – никогда нам этого не предложил. Андрей Белый – табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он – знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки.

Русских – и детей – и поэтов – фатализм.

\* \* \*

Эллис жил в меблированных комнатах “Дон”, с синей трактирной вывеской, на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами – не выносил дня! – и двумя свечами перед бюстом Данте – комнаты – что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете – ухода. И, прежде чем мы опомниться могли, Эллис:

– Борис Николаевич Бугаев. А это – Цветаевы, Марина и Ася.

Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз, конец перебитой нашим входом фразы, – человек уходил, и ничто уже его не могло остановить, и, с поклоном, похожим на пакакого-то балетного отступления:

– Всего хорошего.

– Всего лучшего.

Дома, ложась спать:

– А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал: “Всего лучшего”.

– Нет, мне – всего лучшего. Тебе – всего хорошего.

– Нет, именно тебе – всего хорошего, а мне...

– Ну, тебе – лучшего! (Про себя: сама знаешь, что – мне!)

“Хорошего” или “лучшего” – осуществилось оно не через него. Встреча не повторилась. Странно, что, вращаясь в самом близком его кругу: Эллис, его друг Нилендер, К. П. Христофорова, сестры Тургеневы, Сережа Соловьев, брат и сестра Виноградовы – я его в той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru)  
не искала. Дала судьба раз – не надо просить второго. Слава Богу, что – раз.  
Могло бы и не быть.

Впрочем, видела его часто, года два спустя, в “Мусагете”, но именно – видела, и чаще – спиной, с белым мелком в руке обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую – как из рукава сыпались! – запятыми, полулуниями и зигзагами ритмических схем, так напоминавших гимназические геометрические, что я, по естественному чувству самосохранения (а вдруг обернется и вызовет к доске?), с танцующей спины Белого переходила на недвижные фасы тайного советника Гёте и доктора Штейнера, во все свои огромные глаза глядевшие или не глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом. В жизни символиста всё – символ, не-символов – нет.

\* \* \*

...Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначительное, но рассказа стоящее, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан: как писатель и как страдатель.

Тульская губерния, разъезд “Толстое”, тут же город Чернь, где Иван беседовал с чертом, тут же Бежин Луг. И вот, на каких-то именинах, в сновиденном белом доме с сновиденным черным парком –

– Какая вы розовая, здоровая, наверное рассудительная, – поет, охая от жары и жиру, хозяйка-помещица – мне, – а вот мои – сухие, как козы, и совсем сумасшедшие. Особенно Бишетка – это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сижу я, это, у нас в Москве в столовой и слышу, Бишетка в передней по телефону: “Позовите, пожалуйста, к телефону Андрея Белого”. Ну, тут я сразу насторожилась, уж странно очень – ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем, а то что же это за “Андрей Белый” такой, точно каторжник или дворник?

Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет, и вдруг, голубушка моя, ушам своим не верю: “Вы – Андрей Белый? Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? Мы с сестрами держали пари...” Тут молчание настало долгое, – ну, думаю, наверное, ее отчитывает – Бог знает за кого принял! – уж встать хочу, объяснить тому господину, что она – по молодости, и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла... словом: дура – что... и вдруг, опять заговорила: “Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не как у всех людей, а как ни у кого в Москве и па всем свете! Я на лекции была и сама видела, только не знала, серые или зеленые... Вот и выиграла пари... Ура! Ура! Ура! Спасибо вам, Андрей Белый, за серые!”

Влетает ко мне: “Ма-ама! Серые!” – “Да уж слышу, что серые, а отдала бы я тебя лучше в Екатерининский институт, как мне Анна Семеновна советовала...” – “Да какие там Екатерининские институты? Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила? (А сама скачет вверх вниз, вверх вниз, под самый потолок, – вы ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой сшибет!) С Андреем Белым, с самым знаменитым писателем России! А ты знаешь, что он мне ответил? “Совсем не знаю, сейчас посмотрю”. И пошел смотреться в зеркало, оттого так долго. И, конечно, оказались – серые. Ты понимаешь, мама: Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели... Я теперь и с Блоком познакомлюсь...”

Рассказчица переводит дух и, упавшим голосом:

– Уж какой он там самый великий писатель – не знаю. Мы Тургенева читали, благо и места наши... Ну, великий или не великий, писатель или не писатель, а все же человек порядочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял – дура... и пошел в зеркало смотреться... как дурак... Потом я ее спрашиваю: “А не спросил он, Бишетка, какие у тебя глаза?” – “Да что ты, мама, очень ему интересно, какие у меня глаза? Разве я знаменитость какая-нибудь?”

Милый Борис Николаевич, когда я четырнадцать лет спустя в берлинской “Pragerdielen” вам это рассказала, ваш первый вопрос был:

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– А какие у нее были? Бишет? Vichette[1]? Козочка? Серые, наверное? И вот такие? (перерезает воздух вкусом) – как у настоящей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, такая, такая высокая? Пепельно-русая? И прыгала неподвижно (чуть не опрокидывает стол) – вот так, вот так, вот так?

(“Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию”, – шепот с соседнего столика.)

– Почему же она мне никогда не написала? Родная, голубушка, ее нельзя было бы найти? Нельзя – нигде? Она, конечно, умерла. Все, все они умирают – или уходят (вызывающий взгляд на круговую) – вы не понимаете! Абрам Григорьевич, и вы слушайте! Девушка с козьими глазами, Vichette, которая была на моем чтении...

Издатель, вяло:

– На котором чтении? Уже здесь? Он, вперясь:

– Конечно, здесь, потому что я сейчас там, потому что там сейчас здесь, и никакого здесь, кроме там! Никакого сейчас, кроме тогда, потому что тогда вечно, вечно, вечно!.. Это и есть фетовское теперь.

(Подходит и другой его издатель.) Белый моляще:

– Соломон Гитманович, слушайте и вы. Девушка. Четырнадцать лет назад. Vichette, с козьими глазами, которая вот так от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня глаза... Четырнадцать лет назад. Она сейчас – Валькирия... Вернее, она была бы Валькирия... Я знаю, что она умерла...

(Почтительное, сочувственно-недоуменное и чуть-чуть комическое молчание. Так молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышат, и о котором тут же убивается один из присутствующих.) Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя странно о нем говорить всего и тела, до того этого всего было мало, и до того это было не тело, – напуская на меня всю птицу своего тела:

– А эта Vichette – действительно была? Вы это не... сочинили? (Подозрительно и агрессивно.) Потому что я ничего не помню, никаких глаз по телефону... Я вам, конечно, верю, но... (Окружающим.) Потому что это чрезвычайно важно. Потому что, если она была – то это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому что у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!

Не зная, что сказать, и чувствуя, что девушка уже исчерпана, что остается одно беловское беснование, издатели с женами и писатели с женами незаметно и молниеносно... даже не: исчезают: их – нет. Белый, изучающий тиснение скатерти, ища в ней рун, письмен, следов – внезапно вскинув голову и заливая меня светом – каких угодно, только не серых глаз, явно меня не видящих:

– Vichette... Vichette... Я что-то, что-то, что-то помню. Но... не совпадает! Я тогда был совсем маленьким, меня почти еще не было, меня просто не было...

Не зная и я, что сказать в ответ на такое полное небытие, жду, что через секунду он уже опять будет.

Меня не было, было: я, оно. Вы, конечно, меня понимаете? (Вечный вопрос всех, на понимание до того не рассчитывающих, что даже не пережидают ответа.) Одну секунду... Стойте! Сейчас всплывет. (Властный жест мага.) Сейчас появится! Но почему Vichette, когда – Viquette! Потому что – на эшафот готов взойти, что – Viquette! Но почему Viquette, когда Vichette?

– Борис Николаевич, теперь уж вы – стойте!

(и, напевом)

Ah, tu sortiras, Viquette, Viquette,  
Ah, tu sortiras de ce chou la![2]

Потому что вам в младенчестве, когда вас еще не было, это вам пела ваша французская – нет, швейцарская M-lle, которая у вас была.

Пауза. Сижу, буквально залитая восторгом из его глаз, одетая им, как плащом, как

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
лучом, как дождем, вся, от темени до подола моего пока еще нового, пока еще синего, пока еще единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся до губ:

– Вы, вы мне поверьте, что я за эту *Viquette* – заметьте, что я сейчас о *Viquette* – капустной козе говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов для вас десять лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булжники.

Я, потрясенная:

– Господи!

Он, императивно:

– Булжники. (Пауза.) И должен сказать вам, что я никогда никого в жизни еще так не уважал, как вас в эту минуту.

\* \* \*

Милая *Viquette*, может быть, вы все-таки еще живы и это прочтете? А может быть, уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, до написанного – читаете? А что, если вы первая встретили его у входа и взяли за руку и повели, сероглазая – сероглазого, вечно-юная – вечно-юного, по роцам блаженных, его настоящей родине...

\* \* \*

Из Берлина 1922 года в Москву 1910 года. Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз – в кругу трех сестер, из которых старшая была *Viquette*, во второй раз в трехсестринском кругу Тургеневых.

О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева, в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую – Андрей Белый, в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю – легенда, ибо при знакомстве оказалось, что Наташа – уже замужем, что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что в Асю – и Андрей Белый, и Сережа Соловьев.

Асю Тургеневу я впервые увидела в “Мусагете”, куда привел меня Макс. Пряменькая, с от природы занесенной головкой в обрамлении гравюрных ламартиновских “*anglaises*” [3], с вечно дымящей из точеных пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагетского дыма, из которого только еще точнее и точеней выступала ее прямизна. Красивее из рук не видала. Кудри и шейка и руки, – вся она была с английской гравюры, и сама была гравер, и уже сделала обложку для книги стихов Эллиса “*Stigmata*”, с каким-то храмом. С английской гравюры – брюссельской школы гравер, а главное, Ася Тургенева – тургеневская Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, “Жемчужная головка” его сказок, невеста Андрея Белого и Катя его “Серебряного голубя”, Дарьяльский которого – Сережа Соловьев. (Все это, гордясь за всех действующих лиц, а немножечко и за себя, захлебываясь сообщил мне Владимир Оттонович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. Да не влюбиться было нельзя.)

Не говорила она в “Мусагете” никогда, разве что – “да”, впрочем, как раз не “да”, а “нет”, и это “нет” звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только глядела и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развеивая за собой пепел локонов и дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря – морей – потолка. На лекциях “Мусагета”, честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала, потому что не слушала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей Асей, влетающим Белым, недвижимым Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бодлеровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила. В гимназии – геометрия, в “Мусагете” – гносеология. А это, что сейчас вот как-то коварно изнизу, а уж через секунду, чуть повернувшись (как осколок в калейдоскопе!), уже отвесно сверху Гершензону возражает, это Андрей Белый, тот самый, который – вечность! уже две зимы назад – сказал нам тогда с Асей, мне (утверждаю и сейчас, а ведь как не сбылось!) – “всего лучшего”, – ей – “всего доброго!” Со мной он не

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru) говорил никогда, только, случайно присев на смежный стул, с буйной и несказанно-изумленной радостью: "Ах! Это – вы?" – за которым никогда ничего не следовало, ибо я-то знала, что это – он.

В "Мусагете" я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства своего над всеми, я – всех над собой. Она – от торжествующей, я от непрерывно-ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила "царицей здешних мест".

Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю – никто, а нечто: простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно – горы сводящая! В данном случае предполагавшееся издание "Мусагетом" моей второй книги и поручение Асе для нее обложки.

Помню, что первая пришла я – к ней. В какие-то переулочные снега. Кажется – на Арбат.

Из каких-то неосвященных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму "anglaises" и папиросы, кланяющаяся – исподлобья, руку жмущая по-мужски.

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже сказала – мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девчончеством черт и очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски – одно, но – такой рукою! С гравюры! От такой руки – такое пожатье!

На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, розовой, гимназической и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от моей Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой моя Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. "Очень нужно, дружи сама, что мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях – как назло!" (Может быть, действительно – назло? Зная, что от нее ждут "поэзии"? Вернее же – просто настоящая четырнадцатилетняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы.)

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси – в барсовом плече.

– Какая киса чудная!

– Барс.

– Барс, это с кистями на ушах?

– Рысь.

(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения:

– Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себя шкуру сняли: надели. Чудный смех, взблеск чудных глаз, – волшебная смена из "Цветов маленькой Иды" – хватая мою руку, другой с лампы колпак:

– А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала! Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее могло быть важнее – цвета глаз? И что больше ценилось – зеленых, открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями?

– И какое у вас чудное имя. (Испытующе:) А вы действительно Марина, а не Мария? Марина: морская. Вы курите? (Молча протягиваю портсигар.) И курит, и глаза зеленые, и морская, – Ася, тоном счетовода – сестрам.

Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром Тани – такая тонкая девочка, а как гремит! – разнообразимый дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашек, блюдечек, вазочек.

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
Ни слова не помню про обложку. (Так кончались все мои деловые свидания!) Зато всё помню про барса, этого вот барсенка: бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого, знобкого... Ни слова и про Андрея Белого. (Слово “жених” тогда ощущалось неприличным, а “муж” (и слово и вещь) просто невозможным.)

И, странно (впрочем, здесь все странно или ничего), уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый укол Zahnschmerzen im Herzen[4], что вот – уедет, меня – разлюбит, и чувство более благородное, более глубокое: тоска за всю расу, плач амазонок по уходящей, переходящей на тот берег, тем отходящей – сестре.

– Чудный барс. В следующий раз в “Мусагет” приходите в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу.

(Молча: “Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого!”)

Вслух:

– Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время о ней говорят. И почему вес – разное, когда она – одна.

(Молча: “Ася! Ведь вы – Mignon[5], не из оперы, а из Гёте. Mignon не должна выходить замуж – даже за молодого Гёте...”)

– Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи – выжатый лимон. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: “Совершенно верно”. Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился – Гершензон.

(Молча: “O lasst mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weisse Kleid nicht aus![6] Ася! ведь это измена этому же, вашему же – Белому! Вы должны быть умнее, сильнее, потому что вы женщина... За него понять!”)

Вслух:

– Вы отлично знаете, что ваши стихи – не выжатый лимон! Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем – и всеми нами?

(Молча: “Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя Белого, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду – знаю, что буду! – так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, пусть он один едет в Сицилию и в Египет, оставайтесь одна, оставайтесь с барсом, оставайтесь – барсом”.)

– Марина, о чем вы думаете?

Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершензона. (О, потрясение человека, который вдруг осознал, что молчит и совсем не знает, сколько.)

– Бойтесь меня, я умею читать мысли.

И оборотом головы на сестер:

– Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины и у Аси. Они – не вампиры? Может быть, мне вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь?

– А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него – клыки!

\* \* \*

Другое явление – видение – Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо – в нем, на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти.

Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку – удавку – влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное – любишь. Про ее отъезд не говорим, его не называем, не называем никогда. Это еще пока – девичество, вольница, по ею сторону той реки.

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд... (А со мной, в моей простой любви (а есть – простая?) – в моем веселом девичьем дружестве, в Трехпрудном переулке, дом № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним в Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь...)

– Ася, вы скоро едете?

– Скоро еду, а сейчас иду.

Простившись с ней совсем в нашем полосатом, в винно-белую полоску, матрасном парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезаю в своего гимназического синего барана (мне – баран, тебе – барс, все как следует, и они бар(ан) и бар(с) все-таки родня) и иду с ней вдоль снежного переулка – ряда переулков – до какого-то белого дома (может быть – ее, может быть, его, может быть – ничьего), который зовется “здесь”. Здесь – прощаемся.

\* \* \*

– А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию!

Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех земных мест душа, *ame en reine – d'etemite*[7], уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь замечаю, что и у Нилендера и у Элліса были беловские жесты. Подвлиянность? Сродство?)

– Вы можете передать от меня Асе стихи?

– А вы на вокзале не будете?

– Нет. В руки. В руку. После третьего звонка, конечно, чтобы...

– Понял. Понял.

– Нет. Не поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки. Ей, в машущую...

День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. (Барс, баран, бобер... Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все книги филолога!)

– Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек – и ни слезы!

(Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, – в Монреале, да еще с любимым, да еще этот любимый – Андрей Белый! Но таковы тогда были души и чувства.)

– А он?

– Он, кажется, был (с величайшим недоумением) – просто счастлив? От него шло сияние!

– От него всегда идет сияние.

– Вы правы. Но вчера – особенное. Он не уезжал – отлетал! Точно не паром двинулись вагоны, а его...

Я:

– Вдохновением.

– Счастливая Ася. Бедная Ася.

И я, вторя:



Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Никому, с участием или гневно,  
Не позволь в былое заглянуть.  
Добрый путь, погибшая царевна,  
Добрый путь!

– Марина, какое безумие, какое преступление – брак! Это говорит – мне говорит! В глаза говорит! – человек, которого... который... – и весь рассказ об Асе и Белом – о нас рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Но зато – и какое в этом несравненное сияние! – знаю, что если я, сейчас, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать, войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочную стопу старых книг – и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут – крылья.

Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергнутые Монреале.

\* \* \*

От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: разумное, точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ на мой такой же запрос: куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путешествие, год спустя, было только хождение по ее – Аси, Кати, Психеи – следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, в дикий полдневный, синий дочерна час, от которого у меня и сейчас в глазах синё и черно, бежавшая передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся с поднятым пальчиком: “вот!” – а “вот” была статуя благороднейшего из поэтов Гр. Августа Платена – August von Platen – seine Freunde[8] – та глухонемая девочка, самовозникшая из чащи, была, конечно, душа Аси, или хоть маленький ее мой отрез! – стерегшая меня в этом черном саду.

Больше я Аси никогда не видала.

Девочка... козочка... Vichette... ах, это вы, Vichette?

\* \* \*

1920 год. В филологической берлоге Нилендера встречаю священника с страшными глазами: синими поднебесными безднами. Я эти глаза – знаю. Только это глаза со стены, и не подобает им глядеть на меня через советский примус.

– Вы меня не узнаете? Неузнаваем? Соловьев. Сережа Соловьев. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не подумала – среди бела дня, в гостях Владимир! Но куда же девался чудный, розового мрамора, круг лица? Священник – куда стихи?)

“Как Таня?” – “Таня в деревне. У Тани три девочки”. – “Опять – три?” – “Опять – три”. – “Тургеневской породы?” – “Тургеневской. И одна очень похожа на Асю”. – “Спасибо”.

Для пояснения нужно прибавить, что Таня Тургенева, прельщенная примером моей Аси, вышла замуж из того же шестого класса гимназии – за Сережу Соловьева. Так что разговор шел о соловьевско-тургеневских девочках.

По выходе этого прекрасно- и страшноглазого священника, Нилендер – мне:

– Мечтает о воссоединении церквей. Сначала был православным, потом перешел в католичество, а теперь – униат. Сначала был поэт!

Знают, стройно и напевно  
В полночь вставшие снега,  
Что свершает путь царевна,  
Взяв оленя за рога...

– О, это давно... Это был – другой человек... Это было в Асины времена... – с той особенной отраженной нежностью мужчины, самого не бывшего влюбленным – не решавшегося! – но возле влюбленного, влюбленных стоящего и их нежностью кормившегося...

У-ни-ат... Какая сосущая гимназическая жуть: рассвет... водовоз... вставать... жить... отвечать про польскую Унию...

\* \* \*

Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1922 году, на Воздвиженке, меня окликнула молодая женщина с той обычной советской присыпкой пепла на лице,

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru)  
серьезной заботы и золы, уравнивающей и пол и возраст, молодость заравнивающей  
как лопатой.

– Таня. Таня Тургенева. Но вы тоже очень изменились. А у меня (все еще те глаза  
внезапно и до краев наливаются слезами) – умерла дочка. Вторая. Вот карточка,  
где они еще три.

На меня с дешевой, уже посеревшей, как Танино и мое лицо, открытки глядят три  
маленьких Тургеневы, три Леди Джен. Таня, тыча все еще точеным пальчиком с  
черным ногтем в одну из головок:

– Эта умерла.

Эта, конечно, “Ася”.

\* \* \*

Аси я больше никогда не видала. Есть встречи, есть чувства, когда дается сразу  
все и продолжения не нужно. Продолжать, ведь это – проверять.

Они даже не оставляют тоски. Тоска (зарез), когда не додано, тем или мною, нами.  
Пустота, когда – недостойному – передаю. (Достойному не передашь!) Асю я с  
первой секунды ощутила – уезжающей, для себя, в длительности – потерянной. Так  
любят умирающего: разом – все, все слова последние, или никаких слов. Встреча  
началась с моего безусловного, на доверии, подчинения, с полного признания ее  
превосходства. Я сразу внутренне уступила ей все места, на которых мы когда-либо  
могли столкнуться. Так же естественно, как уступают место видению, привидению:  
ведь все равно пройдет насквозь.

Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше  
“дар Божий”, большая богоизбранность, что не будь в мире “Ась” – не было бы в  
мире поэм.

Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие мужские друзья: я просто в  
нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззаветностью и бескорыстностью  
поэта.

Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерб – не тягайся-предайся, растворишься  
всем, что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение, бессмертное. Вот  
мой завет какой-нибудь моей дальней преемнице, поэту, возникшему в женском  
образе.

\* \* \*

Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не помню. Помню только, что он  
сразу стал налетать на меня со всех лестниц Тео и Наркомпроса: редких лестниц,  
ибо я присутственные места всегда огибала, редких, но всех. Два крыла, ореол  
кудрей, сияние.

– Вы? Вы? Вы? Как всегда приятно вас видеть! Вы всегда улыбаетесь!

И обежав как цирковая лошадка по кругу, овеяв как птица шумом рассеяемого  
воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах – веяние, – куда-то  
трещащими от машинок коридорами, на бегу уже обвешиваемый слушателями,  
слушательницами. В такие минуты он напоминал советский перегруженный, не всегда  
безопасный трамвай.

Или, во Дворце искусств (дом Ростовых на Поварской) на зеленой лужайке. Что это?  
Воблу выдают? Нет, хвоста нет, и хвостов нет, что-то беспорядочнее и праздничнее  
и воблы вдохновеннее, ибо даже рыжебородый лежебок, поэт Рукавишников, встал  
и, руки в карманы, прислонился к березе.

я, какой-то барышне:

– Что это?

– Борис Николаевич.

– Лекцию читает?

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Нет, слушает ничевоков.

– Ничего – что? (Барышня, деловито:)

– Это новое направление, группа. Они говорят, что ничего нет.

Подхожу. То есть как же слушает, когда говорит? Говорит, не закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые ничевоки, только свои раскрыли. И, должно быть, давно говорит, потому что, вот, вытер с сияющего лба пот.

– Ничего: чего: черно. Ч – о, ч – чернота – о – пустота: zero[9]. Круг пустоты и черноты. Заметьте, что ч – само черно: ч: ночь, черт, чара. Ничевоки... а ки – ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: меленькой, меленькой, меленькой... Ничевоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следовать) – выехали! Выбыли! Пустая дача: ча, и в ней ничего, и еще ки, ничего, разродившееся... ки... дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача – дар, чей-то дар, и вот, русская литература была чьим-то таким даром, дачей, но... (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось – ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда одно ничего, оно – ничего, само – ничего, беда, когда – ки... Ки, ведь это, кхи... При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, кхи-шок. Кхи... И от всего осталось... кхи. От всего осталось не ничего, а кхи, хи... На черных ножках – блошки... И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы... как вы неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература (таинственно)... и еще что-то...на спичечных ножках – ничегошки. А детки ваши будут – ничего-шеньки.

Блок оборвался, потому что Блок – чего, и если у Блока – черно, то это черно – чего, весь плюс черноты, чернота, как присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли свет – темно, но ночь, в которую ты вышел из комнаты, есть сама чернота, она.

...Не потому, что от нее светло,  
А потому, что с ней – не надо света...  
С ночью – не надо света.

И Блок, не выйдя с лампой в ночь – мудрец, такой же мудрец, как Диоген, вышедший с фонарем – днем, в белый день – с фонарем. Один света прибавил, другой – тьмы. Блок, отдавши себя ночи, растворивший себя в ней – прав. Он к черноте прибавил, он ее сгустил, усугубил, углубил, учернил, он сделал ночь еще черней – обогатил стихию... а вы – хи-хи? По краю, не срываясь, хи-хи-хи... Не платя – хи-хи... Сти-хи?..

...Но если вы мне скажете, что... – тогда я вам скажу, что... А если вы мне на это ответите, что... – я вам уже заранее объявляю, что... Заметьте, что – сейчас, в данную минуту, когда вы еще ничего не сказали.

“Не сказали”... А поди – скажи! Скажешь тут...

Но это не просто вдохновение словесное, это – танец. Барышня с таким же успехом могла бы сказать: “Это Белый ubertanzt[10] ничевоков...” Ровная лужайка, утыканная желтыми цветочками, стала ковриком под его ногами – и сквозь кружавшегося, приподымающегося, вспарывающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот имеющего отделиться от земли – видение девушки с козочкой, на только что развернутом коврике, под двубашенным видением веков...

– Эсмеральда! Джали!

То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетевшей лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно, ich uberflieg euch![11] в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных? все равно – сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, – о, не ног! – всего тела, всей второй души, еще-души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой – в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов...

– о, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца до цоссенской хозяйки, о, таким ты останешься, пребудешь, легкий дух, одинокий друг!

Прелесть – вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, впрочем, с нежнейшей улыбкой – предатель! О, в высоком смысле, как все – здесь, заведет тебя в дебри, занесет за облака и там, одного, внезапно уклонившись, нырнув в соседнюю смежную родную бездну – бросит: задумается, воззрится, забудет тебя, которого только что, с мольбой и надеждой (“Мы никогда не расстанемся? Мы никогда не расстанемся?”) звал своим лучшим другом.

Не верь, не верь поэту, дева,  
Его своим ты не зови...

О, не только “дева”, – дева – что! а лучший друг, потому, что у поэта над самым лучшим другом – друг еще лучший, еще ближайший, которому он не изменит никогда и ради которого изменит всем, которому он предан – не в переводном смысле верности, а в первичном страшном страдательном преданности: кем-нибудь кому-нибудь в руки: предан – как продан, предан – как пригвожден.

– Бисер перед свиньями... – шепчет милая человеческая поэтесса Ада Чумаченко, тамошняя служащая, – я и то расстраиваюсь, когда он передо мной начинает... Стыдно... Точно – разбрасывает, а я подбираю...

– А эти не расстраиваются.

– Потому что не понимают, кто – он.

– И кто – они.

Но кроме Ады Чумаченки, да меня, случайной редкой гостью, не смевшей и близко подойти, да такого же редкого и робкого гостя Бориса Пастернака – никто Белого не жалел, о нем не болел, все его использовали, лениво, вяло, как сытые кошки сливки – подлизывали, полизывали, иные даже полеживая на лужку, беловский жемчуг прикарманывая – лежа.

“что это?” – “да опять Белый из себя выходит”.

Не входя в вас. Ибо когда наше входит, доходит, растраты нет, пустоты нет – есть разгрузка и пополнение, обмен, общение, взаимопроникновение, гармония.

А так...

Бедный, бедный, бедный Белый, из “Дворцов искусств” шедший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, визжащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под ногами, в то ужасное одиночество совместности, столь обратное благословенному уединению.

\* \* \*

В 1921 году, вскоре после смерти Блока, в мою последнюю советскую зиму я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказала всего того доброго, что о нем знаю и к нему чувствую, то только потому, что не пришлось.

П. С. Коган ни поэтов, ни стихов не понимал, но любил и читал и делал для тех и других, что мог: и тех, и других – устраивал. И между пониманием, пальцем не шевелящим, и непониманием, руками и ногами помогающим (да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека – ходили!), каждый поэт и вся поэзия, конечно, выберет непонимание.

Восхищаться стихами – и не помочь поэту! Пить воду и давать источнику засоряться грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любясь его “поэтичной” зеленью. Слушать Белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему сор, не отблагодарить его за то, что он – есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смела: по устоявшему благоговению моих четырнадцати лет. Помочь ведь тоже – посметь. И еще потому, что как-то с рождения решила (и тем, может быть, в своей жизни и предредила), что все места возле несчастного величия, все бертрановские посты преданности уже заняты. От священной робости – помехи.

– А еще писатель, большой человек, скандал!.. – вяло, без малейшей интонации негодования, надрыгается Петр Семенович Коган, ероша и волосы, и усы (одни у него ввысь, другие вниз).

– Кто? Что?

– Да Белый. Настоящий скандал. Думали – доклад о Блоке, литературные воспоминания, оценка. И вдруг: “С голоду! С голоду! С голоду! Голодная подагра, как бывает – сытая! Душевная астма!”

– Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку из Москвы в Петербург.

– Но я об этом не кричу. Не время. Но это еще не все. И вдруг – с Блока – на себя. “У меня нет комнаты! Я – писатель русской земли (так и сказал!), а у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову, то есть именно камень, камень – есть, но – позвольте – мы не в каменной Галилее, мы в революционной Москве, где писателю должно быть оказано содействие. Я написал “Петербург”! Я провидел крушение царской России, я видел во сне конец царя, в 1905 еще году видел, – слева пила, справа топор...”

Я:

– Такой сон?

Коган, с гримасой:

– Да нет же! Это уже не сон, это у него рядом: один пилит, другой рубит. “Я не могу писать! Это позор! Я должен стоять в очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и есть хочу! Я – не дух! Вам я не дух! Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на мелкой тарелке, и чтобы не я ее мыл. Я заслужил! Я с детства работал! Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов (так и сказал!), у которых по две, по три комнаты – под различными предлогами, да: по комнате на предлог – да, и они ничего не пишут, только подписывают. Спекулянтов! Паразитов! А я – пролетариат: Lumpenproletariat! Потому что на мне лохмотья. Потому что уморили Блока и меня хотят! Я не дамся! Я буду кричать, пока меня услышат: “А-а-а-а!” Бледный, красный, пот градом, и такие страшные глаза, еще страшнее, чем всегда, видно, что ничего не видят. А еще – интеллигент, культурный человек, серьезный писатель. Вот так почтил память вставанием...”

– А по-вашему – все это неправда?

– Правда, конечно. Должна быть у него комната, во-первых – потому что у всех должна быть, во-вторых – потому что он писатель, и нам писатель не враждебный. И, вообще, мы всячески... Но нельзя же – так. Вслух. Криком. При всех. Точно на эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от последствий недоедания, то – кто же его ближе знал, чем я? – только потому, что был настоящий великий человек, скромный, о себе не только не кричал, но погнали его разгружать баржу – пошел, себя не назвал. Это – действительно величие.

– Но так ведь может не остаться писателей...

– И это – верно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого убежденного марксиста, но я, например, сам люблю поваляться на диване и почитать Бальмонта – потребность в красоте есть и у нас, и она, с улучшением экономического положения, все будет расти – и потребность, и красота... Писатели нужны, и мы для них все готовы сделать – дали же вам паек и берем же вашу “царь-девицу” – но при условии – как бы сказать? – сдержанности. Как же теперь, после происшедшего, дать ему комнату? Ведь выйдет, что мы его... испугались?

– Дадите?

– Дадим, конечно. Свою бы отдал, чтобы только не произошло – то, что произошло. За него неприятно: подумают – эгоист. А я ведь знаю, что это не эгоизм, что он из-за Блока себе комнаты требует, во имя Блока, Блоку – комнату, Блока любя – и нас любя (потому что он нас все-таки как-то чем-то любит – как и вы) – чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам пришлось отвечать. Но, позвольте,

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
не можем же мы допустить, чтобы писатели на нас... кричали? Это уж (с добрым  
вопросительным выражением близоруких глаз)... слишком?

Жилье Белому устроил мгновенно, и не страха людского ради, а страха Божия, из уважения к человеку, а также и потому, что вдруг как-то особенно ясно понял, что писателю комната – нужна. Хороший был человек, сердечный человек. Все мог понять и принять – всякое сумасбродство поэта и всякое темнейшее место поэмы, – только ему нужно было хорошо объяснить. Но шуток он не понимал. Когда на одной его вечеринке – праздновали его свежее университетское ректорство – жена одного писателя, с размаху хлопнув его не то по плечу, не то по животу (хлопала кого попало, куда попало – и всегда попадало) – “Да ну их всех, П. С., пускай их домой едут, если спать хотят. А мы с вами здесь – а? – вдвоем – такое разделаем – наедине-то! А?” – он, не поняв шуток: “С удовольствием, но я, собственно, нынче ночью должен еще работать, статью кончать...” На что она: “А уж испугался! Эх ты, Иосиф Прекрасный, хотя ты и Петр, Семенов сын. А все-таки – а, Маринушка? – хороший он, наш Петр Семенович-то? Красавец бы мужчина, если бы не очки, а? И тебе нравится? Впрочем, все они хорошие. Плохих – нет...”

С чем он, ввиду гуманности вывода, а главное поняв, что – пронесло, почтительно и радостно согласился.

Ныне, двенадцать лет спустя, не могу без благодарности вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя писателей, ходатая по их земным делам. Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке, вспомню его еще.

Это был мой последний московский заочный Белый, изустный Белый, как ни упрощаемый – всегда узнаваемый. Белый легенды, длившейся 1908 год – 1922 год – четырнадцать лет.

Теперь – наша встреча.

II. Встреча  
(Geister auf dem Gange)

Drinne gefangen ist Einer.[12]

Берлин. “Pragerdiele” на Pragerplatz’е. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падет в цене.) Сажу частью круга, окружающего.

И вдруг через все – через всех – протянутые руки – кудри – сияние: – Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив! Давно приехали? Навсегда приехали? А за вами, по дороге, не следили? Не было такого... (скашивает глаза)... брюнета? Продвижения за вами брюнета по вагонному ущелью, по вокзальным сталактитовым пространствам... Пристукиванья тросточкой... не было? Заглядывания в купе: “Виноват, ошибся!” И через час опять “виноват”, а на третий раз уж вы – ему:

“Виноваты: ошиблись!” Нет? Не было? Вы... хорошо помните, что не было?

– Я очень близорука.

– А он в очках. Да-с. В том-то и суть, что вы, которая не видит, без очков, а он, который видит, – в очках. Угадываете?

– Значит, он тоже ничего не видит.

– Видит. Ибо стекла не для видения, а для видоизменения... видимости. Простые. Или даже – пустые. Вы понимаете этот ужас: пустые стекла, нечаянно ткнешь пальцем – и теплый глаз, как только что очищенное, облупленное подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами – вкрутую сваренными – он осмеливается глядеть в ваши: ясные, светлые, с живым зрачком. Удивительной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда?

...Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так мимолетно? Я все детство о вас слышал, все ваше детство, конечно, – но вы были невидимы. Все ваше детство я слышал о вас. У нас с вами был общий друг: Эллис, он мне всегда рассказывал о

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
вас и о вашей сестре – Асе: Марине и Асе. Но в последнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к вам, он – уклонялся.

– А мы с Асей так мечтали когда-нибудь вас увидеть! И как мы были счастливы тогда, в “Доне”, когда случайно...

– Вы? Вы? Это были – вы! Неужели та – вы? Но где же тот румянец?! Я тогда так залюбовался! Восхитился! Самая румяная и серьезная девочка на свете. Я тогда всем рассказывал: “Я сегодня видел самую румяную и серьезную девочку на свете!”

– Еще бы! Мороз, владимирская кровь – и вы!

– А вы... владимирская? (Интонация: из Рюриковичей?) Из тех лесов дремучи-их?

– Мало, из тех лесов! А еще из города Тарусы Калужской губернии, где на каждой могиле серебряный голубь. Хлыстовское гнездо – Таруса.

– Таруса? Родная! (“Таруса” он произнес как бы “Маруся”, а “родную” нам с Тарусой пришлось поделить.) Ведь с Тарусы и начался Серебряный Голубь. С рассказов Сережи Соловьева – про те могилы...

(Наш стол уже давно опустел, растолкнутый явным лиризмом встречи: скукой ее чистоты. Теперь, при двукратном упоминании могил, уходит и последний.)

– Так вы – родная? Я всегда знал, что вы родная. Вы – дочь профессора Цветаева. А я – сын профессора Бугаева. Вы – дочь профессора, и я сын профессора. Вы – дочь, я – сын.

Сраженная неопровержимостью, молчу.

– Мы – профессорские дети. Вы понимаете, что это значит:

профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo. (Углубляющая пауза.) Вы не можете понять, как вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, один был профессорский сын, и это на мне было, как клеймо, – о, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах, я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор – но, все-таки одиноко? Schicksalschwer[13]? Если уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гробовщика. Или наборщика... Честное слово. Чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете клеймом? Нет, конечно, вы же – дочь. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы – просто вышли замуж, сразу замуж – да. А сын может только жениться, и это совсем не то, тогда его жена – жена сына профессора Бугаева. (Шепотом:) А бугай, это – бык. (И, уже громко, с обворожительной улыбкой:) Производитель.

Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) – все равно чьи! И наши отцы – умерли. Мы с вами – сироты, и – вы ведь тоже пишете стихи? – сироты и поэты. Вот! И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе и что нам обоим дадут – тот же самый, из одного кофейника, в две одинаковых чашки. Ведь это роднит? Это уже – связь? (Не удивляйтесь: я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная беда. Я – под ударом.) Вы ведь могли оказаться – в Сибири? А я – в Сербии. Есть еще такое простое счастье.

На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал Белый, когда запаздывал в свой загород, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским Б (В), надписанный вершковыми буквами, от величины казавшимися нарисованными.

– Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу “Разлуку”. Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вас передать.

Читаю:

“Zossen, 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед[14] совершенно крылатой мелодией Вашей книги “Разлука”.

Я весь вечер читаю – почти вслух; и – почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, ваша книга первая (это – безусловно).

Пишу – и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И – нет, нет; я с большой скукой разворачиваю все новые книги стихов. Со скукой развернул и сегодня “Разлуку”. И вот – весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверения в совершенном уважении и преданности.

Борис Бугаев”

Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после беловской смерти его показывала: “Так не пишут. Это письмо сумасшедшего”. Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности, во-вторых же, внешней жесткостью выявить жесткость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма, вдруг, до сустава обмакнув и от плеча нажав: “Мама, я очень вырос!” Или: “Мама, я страшно тебя люблю”. Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные.

Я сразу ответила – про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте – всё. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки: рыбы, русалки. Реку, данную в образе пловца, расталкивающего плечами берега, плечами пролагающего себе русло, движением создающего течение. Мелодию – в образе этой реки. Он ответил – письма этого у меня здесь нет, мне – письмом, себе самому статьей (в “Днях”, кажется) о моей “Разлуке”. Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились.

– Вы прочли? Не очень неграмотно?

– Так грамотно, что я не поняла.

– Значит, плохо.

– Значит, я – неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто, сразу теряю связь, как в геометрии. “Понимаете?” – “Понимаю”, – и только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страху.

– Значит, вы – чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается – мне? За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня: голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос самой тоски: Sehnsucht. (Я должен, я должен, я должен написать об этом исследование!) Ведь – никакого искусства, и рифмы в конце концов бедные... Руки – разлуки – кто не рифмовал? Ведь каждый... ублюдок лучше срифмует... Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно – читать. Ведь веры нет в стихи. Изолгались стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали их писать без нужды, они сказали нет. Когда стали их писать, составлять, они уклонились.

Я никогда не читаю стихов. И никогда их уже не пишу. Раз в три года – разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда – поэт. А вы, вы – птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою вас дальше, вы во мне поете дальше, я вас остановить в себе не могу. С этого уже два дня прошло... Думал – разделаюсь письмом, статьей – нет! И боюсь (хотя не надо этого бояться), что теперь скоро сам...



Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы устроил две моих рукописи: “Царь-Деву” в “Эпоху” и “Версты” в “Огоньки”, подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий – для другого смог. С смущенной и все же удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо глядела, гляделась):

– Вы меня простите, это вас ни к чему не обязывает, но я подумал, это, может быть, так – проще, что другому, со стороны – легче... Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь...

Такого другого, с той стороны, с которой – легче, всей той стороны, с которой легче – у Белого в жизни не оказалось.

Так мы опять просидели дотемна. Так он опять пропустил свой последний поезд, и на этот раз с утра в дверную щель (влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а вкось, точно чего-то на стене или на полу ища или опасаясь), итак, в дверную щель его робкое сияющее лицо в рассеянии серебрищихся волос. (И, вдруг, озарение: да ведь он сам был серебряный голубь, хлыстовский, грозный, но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала – и не боялась.)

– Встали? Кофе пили? Можно еще раз вместе? Хорошо? – И захватывая в один круговой взгляд: балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье:

– Хорошо? (Всё.)

\* \* \*

В одну из таких ночевочек, на этот раз решенную заранее (зачем уезжать, когда с утра опять приехать? и зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь?), бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как никто, потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно:

– Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил – полными. Я на них не лег, я только чего-то толстого и холодного... коснулся... Какого-то... живота. (Шепотом:) Это был живот свиньи.

Сын издателя:

– Моя свинья.

– Ваша? И вы ее... любите? Вы в нее... играете? Вы ее... берете в руки? (Уже осуждающе:) – Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее играете?

Ошеломленный “Вы”, выкатив чудные карие глаза, явно и спешно глотает. Белый, оторвав от него невидящие (свинным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

Я... не люблю свинью... Я – боюсь свинью!..

Этим ю как перстом или даже копьём упираясь в свинорыльный пятак.

\* \* \*

Перерыв, который лучше всего бы заполнить графически – тире; уезжал, писал, тосковал, – не знаю. Просто пропал на неделю или десять дней. И вдруг возник, днем, в кафе “Pragerdiele”.

Я сидела с одним писателем и двумя издателями, столик был крохотный и весь загроможденный посудой и локтями, и еще рукописями, и еще рукопожатиями непрерывно подходящих и здоровающихся. И вдруг – две руки. Через головы и чашки и локти две руки, хватающие мои.

– Вы! Я по вас соскучился! Стосковался! Я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватает, только не мог догадаться, как курильщик, который забыл, что можно курить, и, не зная чего, все время ищет: перемещает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар...

Кто-то ставит стул, расчищает стол.

– Нет, нет, я хочу рядом с... ней. Голубушка, родная, я – погибший человек! Вы, конечно, знаете? Все – уже знают! И все знают, почему, а я – нет! Но не надо об этом, не спрашивайте, дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас я – счастлив, потому что от нее – всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние?

Писатель вытряс трубку, один издатель полупоклонился в мою сторону, а другой, Белого отечески любивший и опекавший, отчетливо сказал:

– Конечно, видим все.

– Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас, вот, внезапно захотелось спать, я бы мог сейчас заснуть. А ведь это, господа, высшее доверие – спать при человеке. Еще большее, чем раздеться донага. Потому что спящий – сугубо наг: весь обнажен вражде и суду. Потому что спящего – так легко убить! Так – соблазнительно убить! (В себе, в себе, в себе убить, в себе уничтожить, развенчать, изобличать, поймать с поличным, заклеить, закатать в Сибирь!)

Кто-то:

– Борис Николаевич, вам, может быть, кофе?

– Да. Потому что на лбу у спящего, как тени облаков, проходят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу спать при другом. Иногда, в России (оборот головы на Россию), я этим страшно мучился, среди ночи вставал и уходил. Заснешь, а тот проснется – и взглянет. Слишком пристально посмотрит – и сглазит. Даже не от зла, просто – от глаз. Я больше всего боялся, когда ехал из России, что очнусь – под взглядом. Я просто боялся спать, старался не спать, стоял в коридоре и глядел на звезды... (К одному из издателей:) Вы говорите во сне? Я – кричу.

...А при ней – могу... Она на меня наводит сон. Я буду спать, спать, спать. Ну дайте вашу руку, ну, дайте мне руку и не берите обратно, совершенно все равно, что они все здесь...

Смущенная, все ж руку даю, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающие улыбки – не иду. И он, должно быть, по напряженности моей руки, внезапно понял:

– Простите! Я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня, в кафе, говорить вещи – раз навсегда! Но я – всегда в кафе! Я – обречен на кафе! Я, как беспризорный пес, шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего места. (Будка есть, но я не пес!) Я всегда должен пить кофе... или пиво... эту гадость!.. весь день что-то пить, маленькими порциями, и потом звенеть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку... Не может человек весь день пить! Вот опять кофе... Я должен его выпить, а я не хочу: я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет. Родная! Голубушка! Уйдем отсюда, пусть они сами пьют...

Не забыв заплатив за кофе (таких вещей не забывал никогда), выводит меня, почти бегом, но никогда и ничего не задев, за руку между столиками.

– Теперь куда? Хотите – просто к вам? Но у вас дочь, обязанности... А нельзя же, чтобы маленькая девочка сейчас знала, как поступить через двадцать лет, когда человек отдаст ей всю свою жизнь, а она на нее наступит... хуже! Перешагнет – как через лужу.

...Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты... Хотите просто ходить? Но ходить это ведь (лукаво) заходить: и опять пить, а я от этого бегу...

– Можно просто на скамейку.

– А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если даже шутцман – как это у них издевательски: муж защиты! – если даже такой муж защиты, так мало похожий на человека, так сильно похожий на столб – вдруг, вперит, нет, вопрёт, свое око, не обернув головы: только око, оловянное око – как, знаете, были в детстве такие приманки в кофейных витринах, на Неглинной: неподвижная рожа, с вращающимися глазами. Точно прозревший голландский сыр... Я в детстве так боялся. Мамочка думала развлечь, а я из деликатности делал вид – устарелое слово “деликатность” – из деликатности, говорю, делал вид, что страшно весело, а сам дрожал, дрожал... Рожа не двигается, а глаза вот так, вот так, ни разу – эдак. Как я тогда молча молил: “Сломайся!”

Значит, вы знаете такую скамейку? Как на Никитском бульваре, подойдет собака, погладишь, опять уйдет... Желтая, с желтыми глазами... Здесь нет такой собаки, я уже смотрел, здесь все – чьи-нибудь, всё – чье-нибудь, здесь только люди – ничьи, а может быть, я один – ничей? Потому что самое главное – быть чьим, о, чьим бы ни было! Мне совершенно все равно – вам тоже? – чей я, лишь бы тот знал, что я – его, лишь бы меня не “забыл”, как я в кафе забываю палку. Я тогда бы и кафе любил. Вот Икс, Игрек, все, что с нами сидят, ведь у них, кроме нас, есть еще что-то – неважно, что у них есть (и неважно, что у них – есть), но каждый из них чей-то, принадлежность. Они могут идти в кафе, потому что могут из него уйти не в кафе... В кафе – всё вам это уже рассказали, а теперь я скажу – три дня назад кончилась моя жизнь.

– Но вы где-то все-таки...

– По-ка-жу. Сами увидите, что это за “где-то” и какое это “все-таки”. Именно – все-таки. Вы гениально сказали: все-таки. О, я бы вас сейчас с собой повез, нно... это ужасно далёко: сначала на трамвае, потом по железной дороге, и гораздо дольше и дальше, это уже за краем всех... возможностей. Это – без адреса... Удивительно, что туда доходят письма, ваши письма, потому что другие – вполне естественно, нельзя более естественно. По существу, туда бы должны доходить только одни счета – за шляпу в английском магазине “Жак” двадцать лет назад или за мою будущую могилу на Ваганькове...

А знаете? Мы туда возьмем дочь, вы приедете с ней, мы будем втроем, ребенок – это всегда имманентность мгновению, это разгоняет всякие видения...

– А теперь я поеду, нет, нет, не провожайте, я вас уже измучил, я вам бесконечно благодарен... Видите? Наш трамвай!

Привычным движением – сына, отродясь подсаживавшего мать в карету – подсаживает. Всканивает следом. Стоим на летящей площадке, плечо к плечу. Беря мою руку:

– Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить вам голову на плечо... И спать стоя. Лошади стоя ведь спят.

Перед зданием вокзала, отпустив наконец руку (держал ее все время у сердца, вжимал в него):

– Нет. Сегодня – нет. Я ведь знаю, сколько я беру сил. Берегите на когда совсем задохнусь. Сейчас я – счастлив, совсем успокоен. Приеду домой и буду писать вам письмо.

\* \* \*

– Как Белый сегодня к вам кинулся! Ведь – на глазах загорелся! Это был настоящий *сoup de foudre*[15]! – сказал мне за ужином издатель.

– Человек, громом пораженный, может упасть и на человека, – был мой ответ.

*Soup de foudre*? Нет. Не так они происходят. Это было общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизненностью. Больше – ничего. Но такая малость в такие минуты – много. Всё.

А минута была тяжелая. Полный перелом хребта.

\* \* \*

Держа в руках подробнейший трогательнейший рукописный и рисованный маршрут – в мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать, – маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и, уж конечно, собственным, как дети рисуют, домиком: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою.

– Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехал и довез бы, но – вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший готтентотский эгоизм – мне так хочется завидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе – так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благодать! – сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью...

– Золото в лазури! – по ассоциации говорю я. Он, хватая мою руку:

– Вы не знаете, что вы сейчас сказали! – Вы – назвали. Я об этом все время думаю – и боюсь. Боюсь – начать. Боюсь – все выйдет по-другому... Для них – “переиздать”... Для них – “стихи”. Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну... Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь.

...Выйдя с вокзала – прямо, потом (переводя меня через нарисованный шлях) перейти шоссе (умоляюще:) только раз перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мне так безумно хочется вас ждать, вас наверное ждать. Завидеть вас издали, в синем платье, ведущей дочь за руку...

Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого больше смущена, чем просвещена: столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно; устрашенная силой его ожидания – когда так ждут, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дело не во мне, а в моей синеве – сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссе, на котором должна возникнуть синей тенью.

Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили – стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, а не дома. Сюда можно приезжать и отсюда можно – нужно! – уезжать, жить здесь нельзя. И странное население. Странное, во-первых, чернотой; в такую жару – все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами – и, кажется, венками? – на толстых животах. Цветы – лиловые.

Наконец – дом, все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце, с крыльца:

– Вы? Вы? Родная! Родная!

Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке, явно для пожара – уж и спички готовы: перила! – вводит в совершенно голую комнату с белым некрашеным столом посредине, усаживает.

– Как вам здесь нравится? Мне... не нравится. Не знаю почему, но не нравится... Не понравилось сразу, как вошел... Уже когда ехал – не понравилось... Говорили, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь... как-то... голо? Вы заметили деревья? (Не заметила никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками.) Без тени! Это человек был без тени – в каком-то немецком предании, но это был – человек, деревья – обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют – понятно: в таких деревьях! У меня в Москве по утрам – всегда пели, даже в двадцатом году – пели, даже в больнице – пели, даже в тифу – пели...

И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают, точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И – может быть, это под Берлином мода такая? – все в

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
черном, ни одного даже коричневого и серого, все черное, даже женщины – в черном.

(Я, мысленно: “А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве!”)

– А мебель – белая, и пахнет свежим тесом. В этом что-то (отрясаясь)...  
зловещее? Может быть, это какой-нибудь особенный поселок?

Я, быстро отводя:

– Нет, нет, после войны – везде так. Он, явно облегченно:

– Ах! Значит – вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для вдов и вдовцов... Как это по-немецки... по-прусски... И как по-немецки, что они не догадуются пережениться и одеться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов – совершенно необъяснимое при отсутствии цветов, – потому что цветов, вы заметили, нет, потому что – садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки... Как с кладбища, так поминать – сосисками и пивом, помянули – опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить – с тоски!

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, – в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу ездят целыми фурами, фургонами... Вы таких не встречали? Полные фургоны черных людей... Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе... Вдовье место, вдовцово место, противное место...

И слово не нравится: Zossen. Острое и какое-то плоское, точно клетка.

Простите, что я вас сюда позвал!

Но мы ведь ничем не связаны? (Наклоняясь к моему уху:) Мы ведь можем уехать? Сначала – посидеть, а потом – уехать? Провести чудный день?

Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера туда – сюда! – не поехал, я тотчас же свернул вам вслед, следующим же трамваем – в “Pragerdiele”, но... устыдился... Весь вечер ходил по кафе и в одном встретил (называет язвящее его имя). Что вы об этом думаете? Может она его любить?

Я, твердо:

– Нет.

– Не правда ли: нет? Так что же вес это значит? Инсценировка? Чтобы сделать больно – мне? Но ведь она же меня не любит, зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего – делать больно себе. Вы его знаете?

Рассказываю.

– Значит, неплохой человек... Я пробовал читать его стихи, но... ничего не чувствую: слова. Может быть, я – устарел? Я очень усердно читал, всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче.

...Можно любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дикаря... Но этот дикарь не должен писать теоретических стихов!

(Взрывом.) О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете – он ей нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы)... тысячелетия... Ей нужно (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было убить прошлое, убить себя – ту, сделать, чтобы той – никогда не было. Это – месть. Месть, которую оценил я один. Потому что для других это просто увлечение. Так... естественно. После сорокалетнего лысеющего нелепого – двадцатилетний черноволосый, с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и забылась: разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это – голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит... О, вы не знаете, как она

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
умеет молчать, вот так: сесть – и молчать, стать и молчать, глядеть – и молчать.

– Месть? Но за что?

– За Сицилию. За “Офейру”. “Я вам больше не жена”. – Но – прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне – жена? Она мне – она... Мерцающее видение... Козочка на уступе... Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана... Где она увидела “интимность”, “собственничество”, печать (недоуменно) мужа?

Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что, вот... жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я всегда этого не знал. И вот, из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня.

...Мне ее так жаль.

Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. В ней – сила! Сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она по-человечески, не проездом с группой, с трупой, полчаса в кафе, а дружески, по-человечески, по-глубокому, по-высокому – я бы, обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался...

Вы не знаете, как я ее любил, как ждал! Все эти годы – ужаса, смерти, тьмы – как ждал. Как она на меня сияла...

И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко поплатится. Она зальет его презрением... “Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти”. А он, должно быть, ее безумно любит!

(“Как у тебя все по-высокому, говорю я внутри рта, вот он уже у тебя и Мавр... И как с мужской, по крайней мере, стороны все несравненно проще, – той простотой, которой тебе не дано понять. А “безумная любовь” – сидит в “Pragerdiele”, угрюмый, как сыч, и, заглатывая зевоту: “Ну и скучища же с ней! Молчит, не разговаривает, никогда не улыбнется. Точно сова какая-то...” Но этого ты не узнаешь никогда”.)

– Простите, я вас измучил! Такое солнце, а я вас измучил! Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. Ведь – кончено. Ведь я – стихи пишу. Ведь я после вашей “Разлуки” опять стихи пишу. Я думаю – я не поэт. Я могу – годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после вашей “Разлуки” – хлынуло. Остановить не могу. Я пишу вас – дальше. Это будет целая книга: “После Разлуки”, – после разлуки-с нею, и “Разлуки” – вашей. Я мысленно посвящаю ее вам и если не представляю посвящения, то только потому, что она ваша, из вас, я не могу дарить вам вашего, это было бы – нескромно.

Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите, я сам не остановлюсь, я никогда не остановлюсь...

И вот над унынием цоссенского ландшафта:

Ты, вставая, сказала, что – нет!  
И какие-то призраки мы.  
Не осиливает – свет.  
Не осиливает – тьмы.  
Ты ушла. Между нами года –  
Проливаемая – куда  
Проливаемая – вода?  
Не увижу тебя никогда.  
Пробегают листки, как клавиши.

Да, ты выпренней ложью обводишь  
Злой круг вокруг себя.  
И ты с искренней дрожью уходишь  
Навеки, злой друг, от меня  
Без ответа.  
И я никогда не увижу тебя  
И – себя – ненавижу за это!

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
И еще это! – В его руке листки, как стайка белых, готовых сорваться, крыльев.

– Ты – тень теней, тебя не назову,  
Твое лицо холодное и злое...  
Плыву туда, за дымку дней, зову  
За дымку дней, – нет, не тебя: былое,  
которое я рву (в который раз!),  
которое в который раз восходит,  
которое в который раз, алмаз,  
Алмаз звезды, звезды любви, низводит...  
И, точно удивившись внезапно проступившей тишине:

– А какая тихая дочь. Ничего не говорит. (Зажмурившись:) Приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей. (Глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя:) Я бе-зум-но их боюсь. О, с детства! С Пречистенского бульвара. С каждой елки, с каждого дня рождения. (Шепотом, как жалуются на могущественного врага:) Они у меня все ломали, их приход был нашествие... (Вскипая:) Ангелы? Я и сейчас еще слышу треск страницы: листает такой ангел любимую книгу и перервет вкось – точно рваная рана... И не скажите – нечаянно, редко – нечаянно, всегда – нарочно, всё нарочно, назло, искоса, исподлобья – скажу или нет. О, они, как звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело только – не показать страха, не дрогнуть... Большой волк ведь, когда заболевает, наступает на больную лапу... Знает, что разорвут. О, как я их боюсь! А вы – не боитесь?

– Своих – нет.

– А у меня своих – нет. И, наверное, уже не будет. Может быть – жаль? Может быть, лучше было бы, если бы-были? Я иногда жалею. Может быть, я как-то... прочнее был бы на земле?..

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая:

– Ма-ама!

Я, с самонасильственной простотой:

– Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.

– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно. Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее:

– Ей в одно местечко нужно.

– А-ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде, везде! Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация.

– Но кто же вас здесь... поселил? (Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении.)

– Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно – так нужно. Очевидно, это кому-то нужно. – И, уже как узаконенный припев: – Девочке нужно, нужно, нужно.

\* \* \*

– Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед окном!

– Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали, во-вторых, он все равно ничего не видит.

– Как не видит? Ты думаешь, он слепой?

– Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?

Чтобы кончить о “девочке, которой нужно” и Белом. Несколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву.

– Бездонная бочка какая-то! В восемь лет! Нет, этому нужно положить конец.

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет – чтобы навсегда отучить.

И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно:

– А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый.

\* \* \*

– Конечно, Пушкин писал своего “Годунова” в бане, – говорит Белый, обзревая со мной из окна свои цоссенские просторы. Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет – разве это таз? Ведь сюда – только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин!

А теперь... (дверь без стука, но с треском открывается, впуская сначала поднос, потом женский клетчатый живот) – чем богаты, тем и рады! Не осудите: я обречен на полное отсутствие кулинарной фантазии моей хозяйки.

Суп безмолвно и отрывисто розлит по тарелкам. После хозяйкиного ухода Белый, упавшим голосом:

– Naferbruhe... [16] Овсянка... Я так и знал... Сидим, браво хлебаем не то суп, не то кашу, для гуши – жидкое, для жидкости – густое...

– Naferbruhe, Naferbruhe, Naferbruhe, – бормочет Белый. – Bruhe... bruten... точно она этот овес высиживает, в жару собственного тела его размаривает, собой его морит... Milchsuppe – Naferbruhe, Naferbruhe – Milchsuppe [17]...

И дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у которого вырвали зуб:

– А теперь едемте обедать!

\* \* \*

Берлин. Ресторан “Медведь”: “zum Varen”.

– Никаких супов, да? Супы мы уже ели! Мы будем есть мясо, мясо, мясо! Два мясных блюда! Три? (С любопытством и даже любознательностью:) А дочь сможет съесть три мясных блюда?

– Пива, – флегматический ответ.

– Как она у вас хорошо говорит – лаконически. Конечно, пива. А мы – вина. А дочь не пьет вина?

Первое из трех мясных блюд. (Потом Аля, мне: “Мама, он ел совершенно как волк. С улыбкой и кося... Он точно напал на мясо...”)

По окончании второго и в нетерпении третьего Белый, мне:

– Не примите меня за волка! Я три дня на овсе. Один – я не смею: некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь то же ест и в Берлин не ездит... Но сегодня я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? Да еще с дочерью. А я уж к вам – присоседился.

И, по явной ассоциации с волком:

– А теперь – едем в Zoo [18].

\* \* \*

В Zoo, перед клеткой огромного льва, львам – льва, Аля:

– Мама, смотрите! Совершенный лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза – точно все врут.

– Не скажите! – учтиво и агрессивно сорокалетний – восьмилетней. – Лев Толстой,



Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru)  
это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и  
проделал над собой вивисекцию.

Поглощенная спутником, кроме льва, из всего Zoo на этот раз помню только  
бегемота, и то из-за следующего беловского примечания:

– В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги  
платят! Я не расслышал, что говорит зритель, и пошел за ним, потому что он  
шел. Это был такой ужас! Я чуть в обморок не упал...

Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрятчи: как-то “иау”, между лаем и  
мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого, как водопад, хлынул  
плащ. (Ходил он в пелерине, которая в просторечье зовется размахайкой, а на нем  
выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем  
свободные и бедные, точно голые без верхних рукавов, вероломным покровом якобы  
освобожденные, на самом же деле – связанные. Оттого он так и метался, что  
пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и  
разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. Из *Kaufhaus  
des Westens*[19] или еще старинная московская – не знаю. Серая.)

Простоявши поклеточно весь сад:

– Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь... слишком много? Почему  
я на них должен смотреть, а они на меня – нет? Отворачиваются!

Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской империи, – совсем  
пресненском! – друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину –  
повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нем-самом. Лихорадочная  
повесть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно  
не могу и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярным хинным звоном, с  
обрывочными видениями какой-то ржи – каких-то кос – чьего-то шелкового пояса –  
ранний Блок у него вставал добрым молодцом из некрасовской “коробушки”,  
иконописным ямщиком с лукутинской табакерки, – чем-то сплошь-цветным, совсем без  
белого, и – сцена меняется – Петербург, метель, синий плащ... вступление в игру  
юного гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз  
новых двух – отъезды – приезды – точное чувство, что отъездов в этой встрече  
было больше, чем приездов, может быть, оттого, что приезды были короткие, а  
отъезды – такие длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все  
оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства... Узел стягивается,  
все в петле, не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое  
слово:

– Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не  
осталось. Ничего. Пустота.

Тут же я впервые узнала о сыне Любви Димитриевны, ее собственном, не  
блоковском, не беловском – Митьке, о котором так пекся Блок: “Как мы Митьку  
будем воспитывать?” – и которого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся  
обращением к Богу:

Нет, над младенцем, над блаженным  
Стоять я буду без тебя!

Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих во мне строк пушкинской  
эпитафии первенцу Марии Раевской:

С улыбкой он глядит в изгнание земное,  
Благословляет мать и молит за отца.

Помню еще одно: что слово “любовь” в этой сложнейшей любовной повести не было  
названо ни разу, – только подразумевалось, каждый раз благополучно миновалось, в  
последнюю секунду заменялось – ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в  
течение рассказа ловила себя на мысли: “Что ж это было?” – именно на мысли, ибо  
чувством знала: то. Убедена, что так же обходилось, миновалось, заменялось, не  
называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда души.  
Лучшие из душ. Символизм меньше всего литературное течение.

И – еще одно. Если нынешние не говорят “люблю”, то от страха, во-первых – себя  
связать, во-вторых – передать: снизить себе цену. Из чистейшего себялюбия. Те –  
мы – не говорили “люблю” из мистического страха, назвав, убить любовь, и еще от

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
глубокой уверенности, что есть нечто высшее любви, от страха это высшее –  
снизить, сказав “люблю” – недодать. Оттого нас так мало и любили.

\* \* \*

Тогда же, в Zoo, я узнала, что “Синий плащ”, всей Россией до тоски любимый...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,  
Я слезы лил, но ты не снизошла,  
Ты в синий плащ печально завернулась,  
В сырую ночь ты из дому ушла... –  
синий плащ Любви Димитриевны. “О, он всю жизнь о ней заботился, как о больной,  
ее комната всегда была готова, она всегда могла вернуться... отдохнуть... но то  
было разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись”.

\* \* \*

Zoo закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении,  
тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот день до  
какого-то чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно  
азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брызжащей  
лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба:

– Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы, такая  
простая... И дочь тихая, разумная, ничего не говорит... (И, уже как припев:)  
Приятно!

\* \* \*

Оттого ли, что было лето, оттого ли, что он всегда был взволнован, оттого ли,  
что в нем уже сидела его смертная болезнь – сосудов, я никогда не видела его  
бледным, всегда – розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой  
усугублялась и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос и серый костюм  
казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь – вот в каких цветах у меня  
остался Белый, летний Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча  
девятьсот двадцать второго лета.

\* \* \*

В первый раз войдя в мою комнату в Pragerpension'e, Белый на столе увидел –  
вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями царской семьи:  
наследника всех возрастов, четырех великих княжон, различно сгруппированных, как  
цветы в дворцовых вазах, матери, отца...

И он наклонясь:

– Вы это... любите?

Беря в руки великих княжон:

– Какие милые!.. Милые, милые, милые!

И с каким-то отчаянием:

– Люблю тот мир!

\* \* \*

Стоим с ним на какой-то вышке, где – не помню, только очень-очень высоко. И он,  
с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

– Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка)... кувырнуться!

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

– Ах! Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так  
(сгибается под прямым углом, распластывая руки)... Или еще лучше (обратный  
загиб, отлив волос) – вот так...

\* \* \*

Через несколько дней после Zoo и Zossen'a приехал из Праги мой муж – после  
многих лет боев пражский студент-филолог.

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность, даже с искоркой зависти... (Не забудем, что все поэты мира любили военных.)

– Какой хороший ваш муж, – говорил он мне потом, – какой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Таким и должен быть воин. Как я хотел бы быть офицером! (Быстро сбавляя:) Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое – какой покой. Ведь я этого искал у Доктора, этого не нашел.

Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как: Белый потерял рукопись. Рукопись своего “Золота в лазури”, о которой его издатель мне с ужасом:

– Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича. Убедите его, что раньше – тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста – камня на камне не оставил. Был разговор о переиздании, а это – новая книга, неузнаваемая! Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура – целая новая книга! Книга неудержимо и неостановимо новеет, у наборщиков руки опускаются...

И вот, эту новизну, этот весь ворох новизн – огромную, уже не вмещающую папку – Белый вдруг потерял.

– Потерял рукопись! – с этим криком он ворвался ко мне в комнату. – Рукопись потерял! Золото потерял! В Лазури – потерял! Потерял, обронил, оставил, провалил! В каком-то из проклятых кафе, на которые я обречен, будь они трекляты! Я шел к вам, но потом решил – я хоть погибший человек, но я приличный человек – что сейчас вам не до меня, не хотел омрачать радости вашей встречи – вы же дети по сравнению со мной! вы еще в Парадизе! а я горю в аду! – не хотел вносить этого серного Ада с дирижирующим в нем Доктором – в ваш Парадиз, решил: сверну, один ввергнусь, словом – зашел в кафе: то, или другое, или третье (с язвительной усмешкой): сначала в то, потом в другое, потом в третье... И после – которого? – удар по ногам: нет рукописи! Слишком уж стало легко идти, левая рука слишком зажила своей жизнью – точно в этом суть: зажить своей жизнью! – в правой трость, а в левой – ничего... И это “ничего” – моя рукопись, труд трех месяцев, что – трех месяцев! Это – сплав тогда и теперь, я двадцать лет своей жизни оставил в кабаке... В каком из семи?

На пороге – недоуменное явление Сергея Яковлевича.

– Борис Николаевич рукопись потерял, – говорю я спешно, объясняя крик.

– Вы меня простите! – Белый к нему навстречу. – Я сам временами слышу, как я ужасно кричу. Но – перед вами погибший человек.

– Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели, вы же, наверное, куда-нибудь заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили, не могли же вы потерять ее на улице.

Белый, упавшим голосом:

– Боюсь, что мог.

– Не могли. Это же вещь, у которой есть вес. Вы где-нибудь ее уже искали?

– Нет, я прямо кинулся сюда.

– Так идем.

И – пошли. И – пошло! Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафе заходил, в которое – нет. То выходило, во все заходил, то – ни в одно. Подходим – то, войдем – не то. И, ничего не спросив, только обозрев, ни слова не сказав – вон. “Die Herrschaften wunschen? (Господа желают?)”. Белый, агрессивно: “Nichts! Nichts! (Ничего, ничего!)”. Легкое пожатие кельнерских плечей, – и мы опять на улице. Но, выйдя: “А вдруг – это? Там еще вторая зала, я туда не заглянул”. Сережа, великодушно: “Зайдем опять?” но и вторая зала – неузнаваема.

В другом кафе – обратное: убежден, что был, – и стол тот, и окно так, и у

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru)  
кассирши та же брошь, все совпадает, только рукописи нет. “Aber der Herr war ja gar nicht bei uns (Но господин к нам вовсе не заходил), – сдержанно-раздраженно – обер. – Полчаса назад? За этим столом? Я бы помнил”. (В чем не сомневаемся, ибо Белый – красный, с взлетевшей шляпой, с взлетевшими волосами, с взлетевшей тростью – действительно незабываем.) “Ich habe hier meine Handschrift vergessen! Manuskript, versteheh Sie? hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Pappe: Mappe! (Я здесь забыл свою рукопись! Манускрипт, понимаете? Здесь на этом стуле! Черную папку![20]) – кричит все более и более раскрасневающийся Белый, стуча палкой. – Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles für mich! (Я – писатель, русский писатель, моя рукопись для меня – всё!)”

– Борис Николаевич, посмотрим в соседнем, – спокойно советует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог, – тут ведь рядом еще одно есть. Вы легко могли перепутать.

– Это? Чтобы я в этом сидел? (Ехидно:) Не-ет, я в этом не сидел! Это – явно нерасполагающее, я бы в такое и не зашел. (Упираясь палкой в асфальт.) И сейчас не зайду.

Сережа, облегченно:

– Ну, тогда зайду – я. А вы с Мариной здесь постоитесь. Стоим. Выходит с пустыми руками. Белый, торжествуя:

– Вот видите? Разве я мог в такое зайти? Да в таком кафе не то что рукопись, – руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, что это – кокаин??

Очередное по маршруту – просто минуем. Несмотря на наши увещевания, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг.

– Но почему же вы даже поглядеть не хотите?

– Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, что тот самый, но, во всяком случае, – из тех. Крашенных. Потому что таких черных волос нет. Есть только такая черная краска. Они все – крашенные. Это их тавро.

И, останавливаясь посреди тротуара, с страшной улыбкой:

– А не проделки ли это – Доктора? Не повелел ли он оттуда моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь пол? Чтобы я больше никогда не писал стихов, потому что теперь – кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека. Это – Дьявол.

И, поднимая трость, в такт, ею – по чем попало: по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг – со всего размаху ярости – по огромному желтому догу, за которым, во весь рост своего самодовольства, вырастает лейтенант.

“Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich habe meine Handschrift verloren. (простите, господин лейтенант, я потерял свою рукопись)”. – “Ja was? (Что такое?)” – “Der Herr ist Dichter, ein grosser russischer Dichter. (Этот господин – поэт, большой русский поэт)”, – спешно и с мольбой оповещаю я. “Ja was? Dichter? (Что такое? Поэт?)” – и – не снизойдя до обиды, залив со всего высока своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского – да еще русского, да еще Dichter’a, оттянув собаку – минует.

– Дьявол! Дьявол! – вопит Белый, бия и биясь.

– Ради Бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что вы – о нем!

– О нем? Пусть успокоится. Есть только один дьявол – Доктор Штейнер.

И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно:

– Больше не будем искать. Пропала. И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, я годы могу не писать, а кто может не писать – писать не смеет.

\* \* \*

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
Замечаю, что в моем повествовании нет никакого crescendo. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли – весь наш недолгий срок.

Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, больше ощутил меня, мое целое, живое целое моей силы, чем самый внимательный ценитель и толкователь, и, может быть, никому я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему – простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате. Сопутствием на улице. Возле.

Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата.

Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а отрожденной: бедой своего рождения в мир.

Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни – жизни, от которой вот только 8 января 1934 года излечился.

\* \* \*

Чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем лице, говоря обо мне, не мне, со мной же – Вы, просто – Вы, только – Вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних, со мной не связанное, с той мной, с которой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он сразу забывал наедине. Я у него звалась Вы. (Как у Каспара Гаузера сторож звался “der Du”[21].)

И, в нашем случае, он был прав. Имя, ведь, останавливает на человеке, другом, именно – этом. Вы – включает всех, включает всё. И еще: имя разграничивает, имя это явно – не-я. Вы (как и ты) это тот же я. (“Вы не думаете, что?..” читай: “я думаю, что...”) Вы – включительное и собирательное, имя-отчество – отграничительное и исключительное.

И еще: что ему было “Марина Ивановна” и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на я.

Так я и осталась для него “Вы”, та Вы, которая в Берлине, Вы – неизбежно-второго лица. Вы – присутствия, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить “Марина Ивановна”, а с Мариной Ивановной он никогда никакого дела не имел.

Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую “Pragerdiele” повторил слово “Таруса”. Меня назвал и позвал.

Двойственность его не только сказала на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрее Белом, она была вызвана ими, – С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? Конечно, и каждый пишущий, и я, например, могу сказать: с кем говорите, со мной, “Мариной Цветаевой”, или мной – мной (я, Марина Ивановна, для себя так же не существую, как для Андрея Белого); но и Марина – я, и Цветаева – я, значит, и “Марина Цветаева” – я. А Белый должен был разрываться между нареченным Борисом и самовольно-осозданным Андреем. Разорвался – навек.

Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый – кто им отец?

Каждый псевдоним, подсознательно, – отказ от преемственности, потомственности, сыновности. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого “Андрея” не знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. Avant moi le déluge![22] я – сам!

Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная незащитность.

Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru  
столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?

Безотчесть и беспочвенность, ибо, как почва, Россия слишком все без исключения, чтобы только собою, на себе, продержат человека.

“Родился в России”, это почти что – родился везде, родился – нигде.

\* \* \*

Ничего одиноче его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши.

А смотреть было на что. Всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его как будто отдавала – туда, откуда бросили, а то – опять возвращало. Просто, им небо и земля играли в мяч.

Мы – смотрели.

\* \* \*

Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. Он доверял – вверялся! – первому встречному, но что-то в нем не доверяло – лучшему другу. Потому их и не было.

\* \* \*

Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним! Как даже не вовремя, а раньше времени – исчезал, тут же, по мнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сидением в первом встречном осточертелом кафе. Какой – опережающий вход – опережающий взгляд, сами глаза опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и, в нетерпении придя, как метлой обмахивал пол и стены – всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты, страх – меня бы первую ввергший в столбняк, если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть – на его страх, как Дуров на злого дога: “Борис Николаевич! Господи, как я вам рада!”

Страх, сменявшийся – каким сиянием!

Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами – не-свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не-свой рожден затравленным.

\* \* \*

О Белом всегда говорили с интонацией “бедный”. “Ну, как вчера Белый?” – “Ничего. Как будто немножко лучше”. Или:

“А Белый нынче был совсем хорош”. Как о трудно-больном. Безнадёжно-больном. С тем пусть крохотным, пусть истовым, но не переменным оттенком превосходства: здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы – хотя бы над самым прекрасным казусом.

\* \* \*

Остается последнее: вечерне-ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто – как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустило, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз – сама взяла.

Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади – серизну – розовизну – голубизну...

Слов не помню, кроме отрывистого: “weiter! weiter![23]” – звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли.

Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии – пустых пространствах, потому и руку взяла, чтобы еще удержать на земле.

Рядом со мной сидел пленный дух.

\* \* \*

Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было – исчезновение.

Думаю, его просто увезли – друзья, так же просто на неуютное немецкое море, как раньше в то самое Zossen, и он так же просто дал себя увезти. Белый всякого встречного принимал за судьбу и всякое случайное жилище за суждённое.

Одно знаю, – что я его не провожала, а не проводить я его не могла только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал.

\* \* \*

А дальше уже начинается – танцующий Белый, каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы, миф танцующего Белого, о котором так глубоко сказал Ходасевич, вообще о нем сказавший лучше нельзя, и к чьему толкованию танцующего Белого я прибавлю только одно: фокстрот Белого – чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) – христопляска, то есть опять-таки “Серебряный голубь”, до которого он, к сорока годам, физически дотанцевался.

\* \* \*

Со своего моря он мне не писал.

\* \* \*

Но был еще один привет – последний. И прощание все-таки было – и какое беловское!

В ноябре 1923 года – вопль, письменный вопль в четыре страницы, из Берлина в Прагу: “Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам! Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были – рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной – живое – живое тепло! – Вы. Я измучен! Я истерзан! К Вам – под крыло!” (И так далее, и так далее, полные четыре страницы лирического вопля перемежку с младенчески-беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожденной комнаты: чтобы был стол, чтобы этот стол стоял, чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, – не в стену квартирного дома, но если мое – в такую стену, то пусть и его, ничего, лишь бы рядом.) “Моя жизнь этот год – кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату”.

Тотчас же ответила ему, что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму – Смихове, что из окна деревья и просторы: косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать... Что М. Л. Слоним почти наверное устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже, если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологическое светило – восьмидесятилетний Кондаков, что у меня, кроме Кондакова, есть друзья, которых я ему подарю и даже, если нужно, отдам в рабство...

Чего не написала! Всё написала!

Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали. И друзья, обреченные на рабство, ждали.

И я – ждала.

\* \* \*

Через несколько дней, раскрывши “Руль”, читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 года отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый.

Такое-то ноября было таким-то ноября его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня.

\* \* \*

– А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал? – спросила я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого в Берлине, приехавшего в Прагу.

Тот, с заминкой...

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Да... но странно как-то.

– То есть как – странно?

– А – так: “конечно, я люблю Цветаеву, как же мне не любить Цветаеву: когда она тоже дочь профессора...” Сами посудите, что...

Но я, молча, посудила – иначе.

\* \* \*

Больше я о нем ничего не слыхала.

Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде (еще порадовалась чудному названию!), пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки – забыт.

\* \* \*

(Geister auf dem Gange) ...

Und er hat sich losgemacht! [24]

10-го января 1934 года мой восьмилетний сын Мур, хватая запретные “Последние новости”:

– Мама! Умер Андрей Белый!

– Что???

– Нет, не там, где покойники. Вот здесь.

Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери – вся моя молодость, быть может, – вся моя жизнь.

Умер Андрей Белый “от солнечных стрел”, согласно своему пророчеству 1907 года.

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел... –

то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события: наше посмертное, этих его солнц, сопоставление: свое посмертье.

Господа, взгляните в два последних портрета Андрея Белого в “Последних новостях”.

Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полета – идет человек. Человек? А не та последняя форма человека, которая остается после сожжения: дохнешь – рассыпется. Не чистый дух? Да, дух в пальто, и на пальто шесть пуговиц – считала, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо убедил? разубил?

Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: переход. Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет.

Этот снимок – астральный снимок.

Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза – человеческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т. д. Все это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэту – послужило. На нас со страницы “Последних новостей” глядит лицо духа, с просквоженным тем светом глазами. На нас – сквозит.

\* \* \*

На панихиде по нем в Сергиевском Подворье, – православных проводях сожженного, которыми мы обязаны заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова, – на панихиде по Белом было всего семнадцать человек – считала по свечам – с десяток из пишущего мира, остальные завсегда. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича,



Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru не было. Зато с умилением обнаружила среди стоявших Соломона Гитмановича Каплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего трудного, неуловимого, подчас невыносимого опекаемого и писателя. Убеждена, что не меньше, чем я, и больше, чем всем нам, порадовался ему и сам Белый.

Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, что гроба – нет, что его – нет: казалось – о Сергей его только застит, отойдет о. Сергей – и я увижу – увидим – и настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли: “Сначала все, потом – я. Прощусь последняя...”

До того, должно быть, эта панихида была ему необходима и до того сильно он на ней присутствовал.

И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в этой темной, от пустоты огромной церкви Сергиевского Подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного:

– Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего – Бориса.

\* \* \*

Post Scriptum.

Я иногда думаю, что конца – нет. Так у меня было с Максом, когда, много спустя по окончании моей рукописи, все еще долетали о нем какие-то вести, как последние от него приветы.

Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич, вечером, мне:

– Достал “После Разлуки”. Прочел стихи – вам.

– Как – мне? Вы шутите!

– Это вы – шутите, не можете же вы не помнить этих стихов. Последние стихи в книге. Единственное посвящение. Больше никому нет.

Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М. И. Цветаевой

Неисчисляемы

Орбиты серебряного прискорбия.

Где праздномыслия

Повисли тучи.

Среди них –

Тихо пою стих

В неосязаемые угодия

Ваших образов.

Ваши молитвы –

Малиновые мелодии

И –

Непобедимые

Ритмы.

Цоссен, 1922 года.

1934

Примечания

1

Козочка (фр.).

2

Ах, ты выйдешь, Бикетта, Бикетта.

Ах, ты выйдешь из этого кочна! (фр.).

3

Локонов (фр.).

4

Зубной боли в сердце (нем.).

5

Миньона (фр.).

6

Какой кажусь, такой я стану!//не троньте белый мой убор! (нем.).

7

Душа, смятенная вечностью (фр.)

8

Августу фон Платену – его друзья (нем.).

9

Нуль (фр.).

10

Перетанцовывает (нем.).

11

Я перелетаю через вас! (нем.).

12

(Духи в сенях)

Один из нас в ловушке! (нем.).

13

Роковой, фатальный (нем.).

14

“Перед” вставлено потом (примеч. М. Цветаевой).

15

Удар молнии. Здесь: любовь с первого взгляда (фр.).

16

Пленный дух. Марина Ивановна Цветаева [tsvetaevamarina.ru](http://tsvetaevamarina.ru)  
Овсяная похлебка (нем.).

17  
Brühe – похлебка; bruten – высиживать (птенцов); Milchsuppe – молочный суп  
(нем.).

18  
Зоопарк (нем.).

19  
Название торговой фирмы (нем.).

20  
Папка, по-немецки – Mappe, а Parre – бессмыслица (примеч. М. Цветаевой.)

21  
Ты (нем.).

22  
После меня – потоп! (фр.)

23  
Дальше! (нем.)

24 (духи в сенях)  
И он освободился! (нем.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
[http://tsvetaevamarina.ru/](http://tsvetaevamarina.ru) Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!